

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕАЛИЗМА В ЛИТЕРАТУРЕ
КОНЦА 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ XIX ВЕКА И ПУШКИН

Период конца 1830-х — начала 1840-х годов в русской литературе Л. Я. Гинзбург характеризует как стадию «непримиримой борьбы», возникшей между противоречивыми идеологическими началами: «с одной стороны, идеалистическое умозрение, с другой стороны — вопросы социально-политической практики»¹. К началу 40-х годов, как отмечает исследователь, все коренные вопросы жизни: политические, социальные, этические, эстетические и иные «тесно сплелись», обретя новое качество — универсальности: «каждый из них в отдельности, и все они вместе» в разрешении своем объединились вокруг двух идеологических полюсов, вокруг двух возможных вариантов решения: романтического и антиромантического. «Резкое размежевание двух идеологических начал оказалось неизбежным»², «риторическое» и «натуральное» направления в литературе начали резко обозначаться в своем все более углублявшемся и активизировавшемся эстетическом противопоставлении.

Много позднее В. И. Мельник пришел к заключению, что «как особый этап развития литературы реализм 40-х годов характеризуется тем, что он не просто продолжил и закрепил творческие завоевания А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя, но и вступил в борьбу с романтизмом, положив конец его господству в литературе как целого литературного направления...»³. В романтических тенденциях этой поры исследователь усматривает последние следы бытования исчерпавшей себя «риторической» школы, тормозящее процесс развития русского реализма явление. «В реализме 40-х годов, — пишет он, — ...выразился момент сознательного отталкивания от романтического метода, прямая и декларированная борьба с ним»⁴.

В этой ставшей уже хрестоматийной характеристике переломного периода рубежа 30—40-х годов слишком общие, внешне бесспорные положения постепенно обрели качество самодовлеющей авторитарности и, в силу этого, нуждаются, на наш взгляд,

¹ Гинзбург Л. Я. Белинский в борьбе с романтическим идеализмом. // Лит. наследство. — Т. 55. I. — М., 1948. — С. 186.

² Там же. — С. 187.

³ Мельник В. И. «Натуральная школа» и реализм 40-х годов. // Русская литература. — 1978. — № 4. — С. 33. Курсив автора статьи.

⁴ Там же.

в пересмотре и конкретизации с помощью обращения к живому, шире означенных пределов, литературному материалу. Соответственно, станет возможным и более точное, углубленное понимание диалектики преемственных связей — признаваемых, но далеко не вскрытых — по причине своей, может быть, ставшей привычной и узаконенной, непререкаемой очевидности. Это, в полной мере, касается и проблемы соотносительности реализма 40-х годов с творчеством Пушкина, с внесенным Пушкиным в сферу литературного творчества типом художественного мышления, методом отображения жизни. В рамках данной статьи, конечно, невозможно коснуться всех граней проблемы, отличающейся, как мы увидим ниже, большой гибкостью, объемностью, внутренней многозначностью. Наша задача состоит в том, чтобы наметить один из путей ее разработки и дальнейшего детального изучения; определить предпосылки, совокупность которых обусловила правомерность самой постановки вопроса: возможность сопоставления двух данных эпох в процессе развития реализма — процессе едином и цельном при всех своих крайностях и противоречиях.

В этом смысле нам близка концепция П. В. Палиевского, считающего, что в литературе XIX века, «несмотря ни на какие разрывы, преемственность сохраняется». Именно «после 40-го года, — пишет исследователь, — русская литература, но уже соединенным усилием, стремится выйти на пушкинские уровни... 40-е начинали новый цикл. Естественно, они были ниже по уровню (сравнительно с 30-ми — Н. В.), — зато выше в инициативе»⁵.

Анализируя своеобразие общей картины литературных стилей в 30—40-е годы, В. В. Виноградов пишет, казалось бы, в том же ключе, что и Л. Я. Гинзбург, В. И. Мельник, отмечая «две диаметрально противоположные тенденции: реалистически трезвого и практически делового отражения жизни — и ее романтико-философического приукрашивания, риторической идеализации». Но здесь же он указывает на наличие странных «риторически напряженных метафор» — странных своей внутренней неоднородностью: в них или «неорганическая смесь книжных слов и выражений с фамильярно-бытовой лексикой», или «семантические несоответствия в связи образов, отчасти восходящих к романтической поэзии 20—30-х годов, отчасти опирающихся на практическую сторону жизни»⁶.

Следует отметить, что широкое употребление так называемых «вещных метафор»⁷ для данной эпохи символично: вещный мир и отвлеченные понятия образуют единство по какому-то внутренне очевидному для их создателей, принципиально важному признаку. И хотя такого рода метафору составляют лексические несообраз-

⁵ Палиевский П. В. Русские классики. Опыт общей характеристики. — М., 1987. — С. 58—59.

⁶ Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX веков. Изд. 3-е. — М., 1982. — С. 344.

⁷ См. об этом: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. — М., 1977. — С. 202.

ности, ведущие к своего рода «стилевой какофонии» (по выражению С. М. Бонди), сам факт ее широкого бытования в этот период наводит на мысль, что синтетическая картина мира — даже в его гримасах и парадоксах — виделась в перспективе сквозь все очевидные в настоящем противоречия.

Выше названные исследователи подчеркивают в литературе конца 30-х — начала 40-х годов разлом, идею разобщения, начало деления на два автономных, враждебных идеологических лагеря. На наш взгляд, это заключение гораздо более справедливо для периода расцвета и наибольших достижений «натуральной школы» (середина, вторая половина 40-х годов) в ее противостоянии «ложно-величавому», фальшиво-идеальному направлению. Что же касается порубежной литературы, то в ней крайности: «идеализм самый ребяческий» и «намеренное углубление в анализ самых ничтожных и бессмысленных подробностей повседневной действительности», по определениям Ап. Григорьева⁸, — еще не вступили, как нам представляется, в фазу резкого антагонизма.

В первой статье из цикла статей о народной поэзии (1841) Белинский, с опорой на философию Гегеля, обосновал последовательность развития всякого живого понятия, которое нуждается в глубоком изучении и может лишь поразить своими крайностями, если ограничиться по отношению к нему внешним поверхностным взглядом. При глубоком подходе становится ясно, что «во всяком понятии заключаются две стороны, по-видимому, враждебные между собою, но на самом деле единосущные; стороны эти, по-видимому, никогда не могут сойтись между собою, но тем не менее непременно должны примириться, слиться друг с другом и образовать новое, уже полное органическое понятие»⁹. Это написано в ту пору, когда «крайности» живого понятия единого человеческого бытия в художественном сознании эпохи уже вполне обозначились: как буквальное копирование действительности и романтическая ее идеализация, пренебрежение бытом. Но однако же в этот момент они как бы колеблются на чаше весов в поисках равновесия. Это искомое равновесие — примирение — угадывается сквозь неизбежные последовательные стадии грядущей борьбы, в фактах исторически необходимого, но в своей сущностной основе неестественного разведения по разным сторонам двух вечных и неотменных прав жизни.

Для Белинского вполне закономерно соизмерить в одной из рецензий 1839 г. «приторную фразерскую идеальность» с «самой грязной положительностью», он не может не сказать также и о значении «истинной» идеальности, без которой дух человека «никогда не проникнет в святая святых храма жизни»¹⁰. Критик внутренне логичен, замечая в обзоре русской литературы за 1841 год по поводу повестей Е. А. Ган: им недостает «такта действительно-

⁸ Григорьев Ап. Литературная критика. — М., 1967. — С. 53.

⁹ Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. — Т. 4. — М., 1979. — С. 129.

¹⁰ Там же. — Т. 2. — С. 491.

сти, умения схватывать и изображать с осязательной точностью и определенностью самые обыкновенные явления ежедневности.» «Но этот недостаток вознаграждается», по мысли Белинского, уравновешивается иными качествами произведений этой писательницы, в частности, «идеальным взглядом на достоинство жизни, человека и женщины в особенности»¹¹.

Борьба с романтическим идеализмом в начале 40-х годов не отменила и не обесценила сущностные, типологически значимые ценности романтизма, не разрешила его главные вопросы: «о мире и вечности, о смерти и бессмертии, о судьбе личного человека, о таинствах любви, блаженства и страдания...». «...наше время, выступившее из него же, — подчеркивает Белинский в этой статье, — не отрешилось от него, но расширило его новыми элементами и уравнесило их, помирило его и с историей, и с практической деятельностью»¹². «...оба эти мира, внутренний и внешний — крайности, — считает критик, — но оба эти мира равно нуждаются один в другом, и в возможном проникновении одного другим заключается действительное совершенство человека»¹³.

В духе этого взгляда возникает и глубокая оценка творчества Пушкина: «многообъемлемость и многосторонность» «срослись» с его поэзией, и вся она — «самый разнообразный мир, где примирены самые разнообразные и противоречащие элементы, где простая и вместе роскошная форма спокойно и равновесно овладела своим многосложным содержанием...»¹⁴.

Нарушение гармонического соотношения внешнего и внутреннего, риторического и натурального элементов в искусстве в эти годы воспринимается как отступление от пушкинской меры, от воплощаемой им идеи «первоначального совершенства»¹⁵. Так, «физиологию пушкинской любви», выражения любовного чувства в лирике Пушкина Ап. Григорьев, по его собственному позднему признанию, прослеживает «как нашу душевную мерку — для того, чтобы яснее обозначить искажения, которые мы привыкли называть романтическими»¹⁶. Дисгармонично ощущаемый явный перевес идеального элемента над бытовой субстанцией, его саморазвитие, отрыв от почвы, воспарение над фактом отмечает Белинский в повестях М. С. Жуковой; та же особенность характеризует многие беллетристические произведения конца 30-х — начала 40-х годов: ранние повести Некрасова, Панаева, сочинения Гребенки, Александра Мундта, Новомлинского и других. Это обстоятельство дает основание Белинскому заключить, что, несмотря на то, что литература «сближается с обществом, с действительностью, хочет быть сознанием общества, его выражением», — «на арене литературы еще слышны старые голоса, поющие старые песни и имеющие сво-

¹¹ Там же. — Т. 4. — С. 333.

¹² Там же. — С. 301.

¹³ Там же. — С. 302.

¹⁴ Там же. — С. 309, 310.

¹⁵ Палиевский П. В. Указ. соч. — С. 46—47.

¹⁶ Григорьев Ап. Указ. соч. — С. 216. Курсив Ап. Григорьева.

их слушателей: вместе с новыми голосами они образуют довольно нескладный и дикий (особенно по контрасту с гармонией пушкинской речи — Н. В.) концерт»¹⁷.

Грубая реальность социальных отношений понимается уже как мощная, требующая активного к ней отношения: трезвого анализа и нравственной оценки — субстанциональная сила. Даже писатели, наиболее романтически настроенные, например, Гребенка, вынуждены, слегка иронизируя над собственной уступчивостью этой силе, вносить в сугубо риторическое повествование явно диссонирующие прозаизмы. Гребенка, например, в повести «Так люди жениятся», долго и с пафосом говоря о ней, вдруг замечает: «А главное я было и забыл: ее звали Анна Васильевна»¹⁸. Но часто осознание власти обстоятельств над человеком, могущества среды, значения социальной иерархии пугает, ведет к гиперболическим обобщениям, нередко перерастающим в аллегории с одним и тем же, фатально трагическим смыслом. «Пошлые» и «здоровые» элементы действительности смешиваются в них, превращаясь в единую грозную силу, в агрессивно наступающую на поруганную индивидуальность человека безличность мира вещей.

Характерно, что И. И. Панаев придает Некрасову 40-х годов черты романтического страдальца, субъективно прилагая к нему отдельные черты, свойственные пушкинскому Онегину. Но на этот проступающий облик пушкинского героя накладываются и свойства, характерные для современника-разночинца, что рождает в результате внутренне эклектичный итог. По словам Панаева, Белинский полюбил Некрасова «за его резкий, несколько ожесточенный ум, за те страдания, которые он испытал так рано, добываясь куска насущного хлеба, и за тот смелый практический взгляд не по летам, который вынес он из своей труженической и страдальческой жизни...»¹⁹.

Для молодого Некрасова и чем-то близкого ему Тимофеева жизнь — это «торг»:

*Бегу... Куда? В торг суетности шумной,
Чтоб заглушить тоску души безумной...
Бегу туда, где плачет нищета,
Где светел лик богатого шута...
Бегу затем, чтоб дать душе уроки
Пренебрегать правдивые упреки,
Когда желает быть сыта!..»²⁰*

Новые стимулы к распространению получают приемы классицистической типизации, столь памятные, например, по сатирической литературе XVIII века. В повести Н. Неверина «Браслет» (1839) читаем: «Неужто между десятью креслами, на краю кото-

¹⁷ Белинский В. Г. Указ. соч. — Т. 4. — С. 337.

¹⁸ Утренняя Заря. Альманах на 1839 г., изд. В. Владиславлевым. — СПб., 1839. — С. 111. Разрядка моя — Н. В.

¹⁹ Панаев И. И. Литературные воспоминания. — М., 1988. — С. 285.

²⁰ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. — Т. 10. — М., 1952. — С. 18.

рых бережно присело ханжество, личина, притворство, неужто ни на одних не расположилось непритворное участие, сердечное соболезнование, искренняя привязанность?»²¹.

Вместе с тем, сугубую материальность социального мира должен был усиливать чуть ироничный подбор визуально подмеченных вещных подробностей: в комнате Клима Мотовилова («Повесть о бедном Климе» Некрасова) образ жизни и положение разночинца красноречиво представлены каждой отдельной вещью: «Кроме письменного стола и кресла, в ней есть три стула, на которых, по выражению одного остряка, не стыдно сидеть и в годовой праздник; есть в ней и шкаф, отделанный под красное дерево, в котором легко может поместиться незатейливый гардероб одного человека. Есть и библиотека, устроенная очень замысловато: так должно назвать расстояние между стеною комнаты и боковой сторонкою шкафа, поставленного в некотором отдалении от стены. <...> На стене против двери небольшое зеркальце...»²² и т. д.

Бытовые детали характеризуют место действия так, что читатель словно присутствует за кулисами при установлении декораций. Через призму бытового реализма — с одной стороны, и приемы надындивидуальной абстрактной типизации — с другой, Некрасову 50-х годов литература начала предыдущего десятилетия (в том числе и его собственные опыты, за редким исключением) представляется убогой и измельчавшей. Это представление вызвало потребность вернуться к вечным ценностям — к мудрости и человечности Пушкина.

«Вспоминая страшное падение тогдашней литературы, — пишет К. И. Чуковский, — на рубеже тридцатых и сороковых годов, Некрасов объясняет это падение тем, что литература осталась без Пушкина:

*Тогда все глухо и мертво
В литературе нашей было:
Скончался Пушкин; без него
Любовь к ней в публике остыла...
В боренье пошлых мелочей
Она погрязнув поглупела...
До общества, до жизни ей
Как будто не было и дела»²³.*

Но даже и в эту пору литературы, когда крайности идеологических позиций породили схематизм и откровенную моралистичность, заменили художественность изображения аналитической оценочностью, предполагающей четкий и однозначный итог, — даже и в эти годы литература стремилась сохранить в себе начала

²¹ Отечественные записки, 1839. — Т. 6. — № 11. — С. 173—174.

²² Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. — Т. 8. — Л., 1984. — С. 5.

²³ Чуковский К. И. Мастерство Н. А. Некрасова. — М., 1971. — С. 32.

пушкинские, следовала путем, проложенным поэтом, — иногда деля это осознанно, чаще же, вероятно, бессознательно, органически наследуя и развивая — в самом главном — единый общекультурный контекст. Следование Пушкину выразилось, в частности, в многообразии вариативных сочетаний субстанциональных черт миров духовного и вещного, в их многочисленных взаимоотражениях, которые пока еще не создавали впечатления свойственных Пушкину объемности и многомерности, но уже явственно указывали на возможность их, на неизбежность постижения явления только с учетом самых разных взглядов на него — на его жизненную значимость и настоящую ценность.

Противоборство «натурального» и «риторического» направлений в литературе этих лет, по-видимому, не включает в себе столкновения двух исключаящих друг друга, претендующих на абсолютную авторитарность концепций. Старое и новое, скорее, проверялось на степень внутренней убедительности. В обыкновенном стремились сохранить высокое, высокому дать обновленное социальным анализом содержание, реальную, по возможности, надежную почву. Контраст между двумя этими началами осознавался как «борение», но Белинский, говоря о повести В. Соллогуба «Большой свет», именовал это «борение» «чудным»²⁴. Спор между идеальным и действительным предполагал поиски высшего единства и начался в его имя. «Движение ценностей показывает, как началась эта борьба, этот спор, плодотворнейший для русской литературы, — пишет П. В. Палиевский, — вызов идеалу и указание, что ему еще многое нужно поднять»²⁵.

Пушкин, в котором «все реально и, в то же время, недостижимо идеально»²⁶, ощущался в непосредственной близости как точка отсчета и, вместе с тем, вечно заманчивое в своей недостижимости и сияющее вдали совершенство. И в 50-е годы Некрасов считал необходимым подчеркнуть в Пушкине эту зримую высоту, столь далекую от осеняемой его именем борьбы литературных партий и направлений. Но при этом Некрасов пишет о Пушкине как о своем современнике, гражданине, перенося на его облик лучшие черты человека нового поколения, разночинца, тип которого был творчески осознан Некрасовым еще в прежнюю эпоху — 40-х годов. Некрасову дороги в Пушкине его «глубокая любовь к искусству, серьезная и страстная преданность своему призванию, добросовестное, неутомимое и, так сказать, стыдливое трудолюбие, о котором узнали только спустя много лет после его смерти, его жадное, постоянно им управлявшее стремление к просвещению своей родины, его простодушное преклонение перед всем великим, истинным и славным и возвышенная снисходительность к слабым и падшим, наконец весь его мужественный, честный, добрый и ясный

²⁴ Белинский В. Г. Указ. соч. — Т. 4. — С. 407.

²⁵ Палиевский П. В. Указ. соч. — С. 56.

²⁶ Там же. — С. 42.

характер, в котором живость не исключала серьезности и глубины...»²⁷.

Именно опираясь на Пушкина, литература конца 30-х — начала 40-х годов уже находила в себе силы отказываться от одноплановых образов, деления на жанровых и нежанровых героев, от плоскостного изображения — с целью создания «многослойной» структуры повествования, что, по единодушному мнению исследователей, является характеристической чертой литературы эпохи реализма²⁸.

Тип романтического идеалиста продолжал вызывать определенное сочувствие («эпоха была и долго еще оставалась романтической»²⁹), но этот тип еще вызывал симпатии лишь в сравнении с бездушностью света или ничтожеством чиновников, обладателей «картофельных душ», и вне соотнесенности с людьми простыми и естественными, чуждыми всякого рода позерства, выразителями народной правды. Тип романтика все еще близок авторам своим экстатическим морализмом, противостоением пошлости, правдоискательством, и под знаком этой близости предельно сокращается дистанция между автором и героем. Вместе с тем, в тех ситуациях, где герой приходит в соприкосновение с простым народом, он теперь уязвим, морально несостоятелен; автор — не всегда грубо, но всегда настойчиво — посмеивается над ним, и в поражении такого героя, павшего в далеко не равной борьбе с обстоятельствами, явно угадывается провидение подлинной, из глубины жизни идущей, уже познаваемой правды.

Анализ поведения романтического героя, испытываемого действительностью, может привести в эту эпоху к совсем неожиданным удивительным результатам. Так, задуманная романтической героиня повести Некрасова «Жизнь Александры Ивановны» оказывается способной на некоторое время увлечься не только личностью возлюбленного, но и его богатством. Типично жанровый герой этой повести Сабельский, бессердечный франт, о котором автору и сказать почти нечего, так как все в нем предопределено средой (положением, воспитанием), вдруг обнаруживает способность к проявлению сильного и естественного чувства — раскаяния, к нравственному прозрению, которое снимает с него печать жанро-

²⁷ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. — Т. 9. — М., 1950. — С. 364.

²⁸ См. об этом, напр.: Одинцов В. В. Стилистика текста. — М., 1980. — С. 219.

²⁹ Григорьев А. П. Указ. соч. — С. 206. См. об этом также: Головин (Орловский) К. Ф. Русский роман и русское общество. Изд. 2-е. — СПб., 1904. — С. 77—78: «У нас укоренилось мнение, будто под влиянием Гоголя и Белинского романтизм безвозвратно исчез из нашей литературы, обратившейся от погони за идеальными героями к воспроизведению трезвой действительности. <...> Мнение это между тем крайне поверхностно». О героях литературы 40-х годов сказано следующее: «Романтизм сидел в их крови, как он был и в жизни тогдашнего общества, по крайней мере той его части, которая не довольствовалась пошлой действительностью. А вся суть движения сороковых годов и заключалась в старании освободиться от этой действительности».

вости, внутренне как бы высвобождает, преобразует его. Таким образом, в литературе 40-х годов колеблется сам принцип подобного размежевания, широко бытовавший в допушкинской литературе.

С появлением Пушкина, по мысли Н. Я. Берковского, связано то, что «постепенно падают перегородки, поставленные у просветителей между «жанром», стихией прозы, и всем, что не есть проза, но есть «человечество вообще». Правда, «у Пушкина в «Онегине» целиком соблюдается распределение героев по степеням их жанровости...». На фоне Петушковых, Буяновых, Загорецких Онегина и Татьяна выступают как нежанровые герои, в которых сосредоточился «идеал». «Именно поэтому по отношению к «рядовой жизни крепостного общества» в «свободных героях» ощутима «большая оппозиционная сила». И все же совершенно очевидно, как отмечает исследователь, что «пушкинская ирония опытнее и многостороннее, чем старинные памфлеты просветителей. У Пушкина ирония касается не только бытового лица, но и того, кто не согласен, спорит с бытовым миром, — она касается и самого оппозиционного героя». Таким образом, «разрушена старая двойственность между «идеалом» и «историей», между человеком вообще и реальным человеком, между высшим типом и реальной средою»³⁰.

В нередки примитивной и даже несколько вульгаризованной продукции массовой литературы рассматриваемого периода во многих случаях по-своему все-таки продолжается процесс работы над созданием внутренне-диалогизованного образа, над освоением всех разновидностей двуглового слова. После пушкинского романа в стихах, как пишет М. М. Бахтин, в литературе «все меньше остается элементов нейтральных, твердых («каменная правда»), не вовлеченных в диалог»³¹.

Примечательным примером является повесть известного в те годы литератора барона Ф. Ф. Корфа «Прошлое». Изобразив, явно стараясь имитировать приемы Гоголя, сатирическими красками личность и образ жизни мелкого таможенного чиновника Семена Ивановича Пехова («...у него, как у циклопа, был один глаз»; «нос румяный, как провозвестница дня — Аврора»; когда Пехов курил трубку, то, «по короткости чубука, нос Семена Ивановича печется над жаром как поросенок на вертеле»³² и т. п.), автор вдруг как бы одергивает себя, очевидно, стремясь соблюсти объективность и меру. По его собственному признанию, которое он спешит довести до читателя, он — враг крайностей: «я только хочу сказать — не знаю, ясно или темно — что крайность губит нас, что мы большею частью или грязные прозаики, или напыщенные су-

³⁰ Берковский Н. Реализм буржуазного общества и вопросы истории литературы. // Западный сборник. Кн. 1. — М.; Л., 1937. — С. 73—74.

³¹ Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. — М., 1975. — С. 113.

³² Отечественные записки, 1839. — Т. 5, № 8. — С. 6, 9.

масброды, — и то и другое не стоит медного гроша»³³. Корф еще сам во власти крайностей, но он спешит преодолеть их очевидную неполноценность, преодолеть наиболее легким путем — компиляции, присоединения к правде бытовой жизни заурядного чиновника, берущего взятки и счастливого «мирным счастьем глупцов», понятия об иных ценностях и иной правде, которая заключается в благородных проявлениях духа.

Корф резко меняет тональность повести, когда развитие сюжета достигает момента, связанного с болезнью и смертью Пехова. Тон его становится торжественно-патетическим, лексика — стилизованно сентиментальной. Пехов, которого совсем недавно автор иронически аттестовал как человека, имеющего «нежную склонность к рому и водке», предстает в совсем ином ракурсе и как бы меняет свой облик: «Семен Иванович пожелал причаститься святых тайн. Торжественный обряд искупления пролил утешение и крепость в душу страждущего старца». И далее: «Прощай, Семен Иванович! прощай, добрый муж и отец! Если ты брал на веку своем взятки, то делал это так как-то, как бы по привычке, увлекаемый общим примером от недостатка характера, без участия злых душевных помыслов. Ты был прост и сердцем и умом, и эта простота довела тебя до поступков предосудительных; если б ты родился в другом кругу, если б общество, окружавшее тебя, было честное, благородное, ты бы тоже был честен и благороден»³⁴.

В этом патетическом пассаже Корф нигде не допускает и тени иронии. Так же серьезно, как он выписывал сатирический портрет Пехова, он изображает его теперь «страждущим старцем», добрым отцом и мужем. М. М. Бахтин как-то заметил: «Один из существенных способов перевода героя из комического плана в высший — это изображение его в несчастье и страданиях; страдания героя переводят комического героя на иной, высший регистр»³⁵. Автор повести «Прошлое» забывает, что изображает смерть чиновника-взяточника — перед ним смерть человека. Ему кажется, что он поступает точно так же, как Пушкин в «Онегине», где «высший регистр» сопутствует рассказу о смерти «бригадира» прошедшего века Дмитрия Ларина. К главе, где показана смерть Пехова, предпослан эпиграф из второй главы «Евгения Онегина»:

*И отворились наконец
Перед сундугом двери гроба.*

Несомненно, по аналогии с пушкинским образом в эпитафии на смерть Пехова подчеркивается, что он был «добрый муж и отец», «прост сердцем и умом». Корф, солидаризуясь с рассказчиком, не забывает отметить, что именно эта «простота» довела Пехова до

³³ Там же. — С. 12—13.

³⁴ Там же. — С. 40, 46—47.

³⁵ Бахтин М. Указ. соч. — С. 232.

житейски низких поступков, породила в рассказе о нем иронически непочтительный тон³⁶.

Аспекты человеческой жизни многообразны и в сопряжении своем — относительны. «Два равно и прямо направленных на предмет слова в пределах одного контекста не могут оказаться рядом, не скрестившись диалогически... — пишет М. М. Бахтин. — Два равновесных слова на одну и ту же тему, если они только сошлись, неизбежно должны взаимоориентироваться»³⁷. Смерть Ларина, как неоднократно отмечалось литературоведами, имеет у Пушкина не одну непреложную интерпретацию³⁸. По мысли С. Г. Бочарова, «она ироническая и серьезная в то же самое время». «Важные инсказанья «возвышают» рассказ о смерти Ларина, — пишет исследователь. — В то же время такие подробности, что «умер в час перед обедом», склоняют рассказ в другую сторону, «вниз». <...> Торжественная фразеология иронически не соответствует этой простой (и даже «низкой») картине — и в то же время ее действительно возвышает и ей соответствует как смерти каждого человека». Смерть Пехова, таким образом, как и смерть Дмитрия Ларина, одновременно освещена «светом архаически-выспренного и бытового сознания»³⁹.

Вся повесть Корфа как бы приобщена к атмосфере пушкинского колеблющегося освещения факта действительности, о котором можно говорить в одно и то же время и драматически, и шутя, поскольку таково и объективное неоднозначное содержание этого факта. Не случайно эпиграф к повести взят из «Домика в Коломне»:

*Лачужки этой нет уж там. На месте
Ее построен трехэтажный дом.*

*.
.
. на высокий дом*

Глядел я косо.

В пушкинскую и послепушкинскую эпохи уже вполне правомерен вопрос, который А. Вельтман формулирует в повести «Эротика» (1835), раздумывая над загадкой любви: «Один ли смысл заключает в себе слово ...?» Речь идет о слове «люблю», но важна

³⁶ Сравните крайне романтическое (романтически-презрительное) восприятие людей подобного типа в новелле Н. Полевого «Блаженство безумия»: «Я искал душ в этих прозябающих телах, — говорил Антиох. — Часто увлекался я добродушием отцов, простотою матерей и взрослым младенчеством детей их. Но грубые формы их вскоре отталкивали меня, и всего грустнее мне было видеть, когда я находил следы чего-то прекрасного, высокого, насильно заглушенного среди репейника и полныи сует и мелких отношений». — Русская романтическая новелла. — М., 1989. — С. 176.

³⁷ Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 4-е. — М., 1979. — С. 219.

³⁸ См., напр.: Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. Очерки. — М., 1974. — С. 66—68; Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. Книга для учителя. — М., 1988. — С. 65—67.

³⁹ Бочаров С. Г. Указ. соч. — С. 66.

принципиальная значимость постановки вопроса. Образ «неба на земле» в этой же повести вбирает в себя несколько смыслов: это и «прелестное место» в окрестностях Карлсбада — нависающий угол скалы (бытовой смысл), и блаженство взаимной любви: «блажен, кто испытает небо на земле, кто встретит ангела-женщину, осмелится произнести: люблю, и эхо этого слова отзовется в ее сердце!..» (смысл сентиментально-романтический), и смерть, поскольку счастье в любви невозможно, и там, где выступает «мрачный угол горы» («небо на земле») героиня должна погибнуть от руки любимого человека⁴⁰ (смысл философский).

Несмотря на то, что многообразный жизненный материал в период конца 30-х — начала 40-х годов складывается в общую картину под преобладающим влиянием собственно идеологических исканий писателей; несмотря на то, что общая идея, выраженная в произведениях литературы этих лет, часто «родится в голове автора независимо от формы», как пишет Белинский, — форма лишь потом «прилаживается к идее», в отличие от «изящных, художественных» созданий (каковы пушкинские произведения), где идея «уходит внутрь формы и оттуда проступает во всех оконечностях формы»⁴¹, — несмотря на все это, навязчиво четкие идеологические и моральные акценты сами же и колеблют себя, достигнув высшей степени самодостаточности. Взаимоотражаясь, претендующие на авторитарность истины корректируют друг друга в поисках еще какого-то, нового уровня понимания — уровня, который нельзя исчерпать четкой догматической формулой и который лежит на пути к постижению созданного Пушкиным мира.

⁴⁰ Вельтман А. Повести и рассказы. — М., 1979. — С. 43—44. Курсив А. Вельтмана.

⁴¹ Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. — Т. 4. — С. 487—488.

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ПУШКИНОВЕДЕНИЯ

Межвузовский сборник научных трудов

**ПОСВЯЩАЕТСЯ
СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МАЙМИНА**

Псков 1991